

## О правах и обязанностях граждан

Приведено по:

Г.Мабли. Избранные произведения.

М.-Л.: издательство АН СССР. 1950.

Перевод и комментарии Ф.Б.Шуваевой.

Вступит.статья В.П.Волгина.

К веб-публикации подготовили: Люсиль, В.Веденев, Александр

© Век Просвещения 2005

### ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

*Третья беседа. Исследование отрывка из трактата Ахциерона о законах. Не следует повиноваться несправедливым законам. Причины, создающие мудрые или несправедливые законы у народов.*

Правда ли, сударь, что вам казалось, будто ваша душа возвышается при чтении моих писем? Это было бы очень приятной для меня похвалой. Это означало бы, что мне удалось внести в мои письма тот дух милорда Стенхопа, который делает рассуждения интересными и трогает сердце, открывая истину уму. Я надеюсь, что вы не хотели польстить мне, ибо мне кажется, что с тех пор, как я знаю свои права и обязанности, я сам испытываю то же, что вы испытали. Мне кажется, что суетность имен и титулов не действует более на мое воображение. В людях, наиболее униженных судьбой, я вижу свергнутых с трона королей, которых держат в цепях; великих мира сего я считаю своего рода тюремщиками.

Милорд, — сказал я ему вчера, когда мы совершали нашу третью прогулку, — я узнал и знаю, что свобода — это благодеяние природы, а неограниченная власть — предел несчастий; я знаю, что нелепо, чтобы законы, уклонившиеся от их истинного назначения, были подчинены воле монарха. Но трудность не в том, чтобы познать истину, а в том, чтобы провести в жизнь ее предписания. Я пытался предусмотреть то, чему вы должны меня научить, и я заблудился в лабиринте. Прежде чем просить вас помочь мне выбраться из него, разрешите мне воспользоваться еще одной минутой для беседы с вами о предмете, имеющем очень близкое отношение к нашему последнему разговору.

Вопрос касается законов. Цицерон написал о них трактат; вчера вечером, просмотрев его труд, я случайно наткнулся на очень интересный отрывок. Этот философ нападает на эпикурейцев, считающих, что только то справедливо или несправедливо, что приказывают или запрещают политические законы. Как! — восклицает он с негодованием, — возможно ли, чтобы законы, созданные тиранами, могли быть справедливыми! Если бы тридцать тиранов захотели предписывать афинянам законы и если бы афиняне высказались в пользу этих законов, явилось ли бы это мотивом для подчинения им?

Несомненно нет. — прибавляет Цицерон, — существует только одно право, обязывающее людей, и есть только один закон, устанавливающий право и закон: это — здравый рассудок, который учит тому, что надо приказывать и что запрещать.

Многие нации, говорит он далее, допускают у себя вредные, пагубные вещи, столь далекие от разума, сколь далеки были бы соглашения, заключенные между разбойниками. Во имя какого права я бы подчинился им? Несправедливый закон, под каким бы названием его ни подносили, не должен служить в большей степени законом, — даже если бы народ мог подчиниться ему, — чем смертоносные снадобья невежественного шарлатана могут служить спасительными лекарствами.

В первый момент, милорд, я готов был думать так, как думает Цицерон, и я охотно сказал бы о нем то, что он говорил о Платоне: я согласен лучше вместе с ним заблудиться, чем находить истину с другими философами. Однако меня не испугала моя смелая мысль, что мой собственный разум — мой первый судья, мой первый правитель, мой первый государь. Я убеждаюсь, что бог одарил меня разумом не для того, чтобы я руководствовался чужим разумом. Как только я начинаю думать, что я никому не могу отказать в том праве, которое я присваиваю себе, у меня появляются беспокойство и неуверенность. Сколько людей — столько мнений, а между тем разве не важно для блага общества, чтобы существовал всеобъемлющий разум, т.е. закон, примиряющий все мнения? Наконец, милорд, мысль Цицерона, столь соответствующая вашему мнению о необходимости власти разума над разумными существами, представляется мне противоречащей вашей доктрине о законах. Все должно повиноваться им, говорили вы мне; гражданин не должен сопротивляться должностным лицам, а должностное лицо должно быть рабом законов; отсюда проистекает благо общества, и я этому так же верю, как вы. Но вот что меня смущает: если гражданин должен отказать несправедливому закону в повиновении, следовательно каждый гражданин имеет право обсуждать законы Всем ложным умам, следовательно, дозволено не повиноваться, и недостойные граждане получают повод для возмущения. Я не спокоен и могу ли я быть спокойным, если я предвижу наступление анархии?

Попытаемся, — ответил мне милорд, — разделить законы на различные разряды, и нам, вероятно, удастся примирить достоинство разума и власть законов, кажущиеся нам противоречивыми, и судить об опасностях или о преимуществах, связанных с обсуждением законов, путающим вас. Что касается естественных законов, вы понимаете, что, поскольку мы видим в них лишь предписания нашего разума, нет нужды слишком много изучать их; они столь простые, столь ясные, что достаточно представить их людям, чтобы они подчинились им, за исключением случаев, когда человек встревожен какой-либо страстью или если функции его мозга нарушены. Самый лживый ум, самый простой крестьянин знают так же хорошо, как и самый глубокий философ, что они не должны дать другому того, что они не хотели бы испытать на себе. Пусть человек унижен нуждой и своим низким занятием, будьте уверены, однако, что вам удастся внушить ему некоторое представление о его достоинстве, в то время как Август среди жертв, которые ему приносят жрецы, и бесстыдной лести сената, еще способен чувствовать, что он только человек. Чем больше мы будем углублять первоначальные законы природы, тем больше смысла будут иметь наши политические законы; и разве не потому мы все испортили, что уклонились от этого правила? К первому разряду человеческих законов я отношу основные или конституционные законы управления каждого государства. Поистине, — продолжал милорд, речи которого я жадно слушал, — вы слишком скромны, если считаете дерзостью судить об их справедливости или несправедливости, и вы не очень

и вы не очень высоко цените своего ближнего, если вы отзываете ему в этой привилегии. Не бойтесь ни долгих, ни оживленных споров: достаточно самого обыкновенного здравого смысла, чтобы видеть, свободны или зависимы законы от власти; стремится ли правительство к общему благу или все общество в целом привнесено в жертву одному какому-нибудь члену убо. Было ли правительство с самого начала создано порочным или оно извратилось впоследствии, — мне кажется, что после нашей последней беседы вы без колебаний должны мать о нем так же, как о нем думает Цицерон. Вовсе не стремись к тому, чтобы закон примирял все мнения, что укрепляло бы несчастья общества, надо считать возражения, сделанные закону, началом удачной реформы. Ваш долг благоприятствовать ему. Не бойтесь дать оружие неверным умам или недостойным гражданам: страх перед правительством, угнетающим их, сдержит их; если же они осмелятся говорить, их плохие рассуждения и их дурные намерения послужат опорочению несправедливых законов.

Всякое правительство, какое бы оно ни было, является источником всех частных законов, которые законоведы делают на законы экономические, уголовные, гражданские и т.д. Я бы не хотел, как и Платон, чтобы в тех счастливых краях, где законы созданы, обдуманы и опубликованы свободным народом, с теми формальностями и той разумной и осторожной медлительностью, которые при дают законам величие и силу, — гражданин имел претензии быть мудрее закона, отказываясь повиноваться тому, что он считает несправедливым. Его разум был бы слишком самонадеянным; он может высказать свои сомнения и требовать объяснения, но предварительно пусть повинуется закону. Его повиновение не будет преступным, сомнение не является мотивом сопротивления закону, а, кроме того, разве мудрость правительства, при котором он живет, не оправдывает его повиновения?

...Монарх спокойно ставит в заголовке своих повелений: такова моя воля. По какой Причине, по какому праву он требует моего повиновения? Разве составление законов, то, что для людей наиболее свято, — это какая-то увеселительная прогулка на охоту? Разве буду я считать священными законами какие-то обрывки тайно сфабрикованных с корыстной целью приказов, обнаруженных не по правилам или в незаконченном виде и не обеспечивающих мне безопасность? Деспот должен внушать мне подозрение уже по одному тому, что его обязанности выше человеческих сил и что хрупкая человеческая добродетель вовсе не создана для того, чтобы противиться искушениям и бесчисленным обманам, которым подвергается королевская особа. Я заставляю мою логику засвидетельствовать, что ее беспристрастные законы стремятся к общему благу и что народ не может быть принесен в жертву страстям министров и фаворитов деспота. Его диван ежедневно делает такие глупости, над которыми глупая чернь посмеялась бы, если бы она не была их жертвой. Я не настолько безумен, чтобы считать себя обязанным повиноваться этим Повелениям.

Нет, нет! Цицерон был прав: мы согласились считать неоспоримой истиной, что гражданин должен повиноваться властям, а власти — закону, и вы можете быть уверены, что в республике, где будет соблюдаться этот порядок, несправедливость законов никогда не породит пагубных распри. Но так как счастливые республики в мире редки, так как люди, всегда влекомые своими страстями к тирании и рабству, настолько злы или настолько глупы, что создают несправедливые и нелепые законы, какое иное средство можно применить к этому злу, как не неповиновение? Это приведет к некоторым волнениям, но почему надо этого бояться? Эти волнения докажут лишь, что вы любите порядок и желаете восстановить его. Слепое повиновение, наоборот, свидетельствует о том, что тупой гражданин безразличен к добру и злу. Чего же можно ждать от него? Человек мыслящий стремится утвердить власть разума; человек, повинующийся без рассуждения, устремляется к рабству, так как он находится во власти страстей.

Прошу вас, — сказал мне милорд, — вспомнить об одном праве из трактата о законах, в котором Квинт выступает как красноречивый демократический проповедник власти народных трибунов. Что ответил ему Цицерон? Мой брат, вот живое и верное изображение всех невыгодных сторон трибуналов, но вы не забывайте и вскрывать эти стороны, покажите нам одновременно и бесчисленные и бесценные преимущества, которые нам доставили эти правители. Надо сравнивать добро со злом и надо сравнивать их справедливо. Начните с этого, и вы увидите затем, что ваша республика никогда не пользовалась бы теми неоценимыми благами, которыми мы обязаны активности, смелости, твердости ежедневной и строгой бдительности трибунов, если бы мы захотели отвести от них те доходящие бедствия, которые иногда приносили их честолюбие, их разговоры и их интриги.

В политике все рассуждают так, как Квинт; а я окажу вам, как Цицерон: эти Небольшие смуты, которые вас тревожат, чувствительно создают затруднения, но они сопровождаются преимуществом, несущим безопасность и благополучие государству. Трибуны Квинта ошибались иногда и препятствовали благотворным мероприятиям; но, постоянно сопротивляясь тирании законоведов и честолюбию сената, они сохранили народное достоинство, являющееся достоинством республики. Трибуны утвердили законы и не допустили, чтобы они стали притеснительными; трибуны возбудили у граждан бодрость, вызвали соревнование и предоставили им все блага. Сколько вещей, которые мы берем на себя смелость хулить, получили бы одобрение, если бы мы давали себе труд рассмотреть их со всех сторон, видеть не только их ближайшие последствия, но и самые далекие!

Нам хотелось бы иметь чистые блага, без всякой примеси, и, однако, безумно желать этого, поскольку общество состоит из людей, т.е. из материала весьма несовершенного. Будем довольствоваться той степенью совершенства, которого природа разрешила нам достигнуть, и теми средствами, какие она предоставила нам для его достижения. Наименьшее зло — вот наше наибольшее благо в мире физическом так же, как в мире моральном, природа придала лекарствам какую-то горечь. Следует ли поэтому отказаться от них или, гримасничая подобно ребенку, принимать их? Я прекрасно понимаю, что если дух беспокойства распространится среди граждан, он когда-нибудь окажется столь же опасным, как и трибуны, но это та уда, которая сдерживает правительство, всегда готовое перейти предписанные ему границы.

Впрочем, — прибавил милорд, — вопрос о несправедливых и глупых законах и о реформе правительства, который мы вчера обсуждали, — в сущности говоря, один и тот же вопрос, ибо невозможно гражданам одновременно исправлять пороки своего правительства и рабски повиноваться предписываемым им законам.

...Если вы знаете кого-нибудь, сударь, кто хотел бы встать на защиту несправедливых и нелепых законов, попросите его изложить это на бумаге и пришлите мне эти записки. Что же касается меня, я не смею далее настаивать на таких законах, так как я в состоянии противопоставить милорду только те жалкие общие места, которые он без труда опровергнет, к тому же признаюсь вам, что я не обладаю счастливым талантом спорить против того, что считаю истиной.

Так как мы вели беседу о законах, — сказал мне милорд, — мы должны были бы, прежде чем перейти к детальному обсуждению вопроса о реформе, к которой вы жадно стремитесь, посвятить оставшееся время нашей прогулки рассмотрению тех средств, какие предоставила нам природа для создания справедливых законов. Милорд, — возразил я, — несомненно, природа слишком мудра, чтобы дать нам разум, неспособный указать нам, каковы наши обязанности, и позаботиться об удовлетворении всех наших нужд. Почему мы не углубимся в самих себя; почему мы не заставим умолкнуть наши страсти;

почему мы не обратимся за советом к нашему разуму, чтобы узнать у него, каковы веления природы? Наши законы, несомненно, будут хорошими, если они будут, так сказать, только отрезками естественных законов. Они запретят порок и распространят добродетель. Вы бы увидели тогда, что граждане без печали несут бремя законов и, может быть, даже любят их как основу своей безопасности и благоденствия. Вы правы, — возразил мне милорд, — ваш метод верный. Но, если судить по опыту, вряд ли он осуществим. Я хотел бы знать, существует ли такое искусство, с помощью которого люди, всегда способные под влиянием своих страстей ослепляться и соблазняться, сумели бы избежать соблазна страстей и найти столь полезную и как будто всегда ускользающую от них правду.

Я уже хотел было ответить, сударь, что надо устроить так, чтобы в государстве процветало изучение юриспруденции, чтобы были основаны кафедры естественного права, что надо основать законодательный совет из честных людей; я хотел сказать и сотни других столь же важных вещей, когда заметил, к счастью, что милорд Стенхоп с любопытством следит, пошла ли мне на пользу беседа с ним. У меня хватило здравого смысла понять, что я найду свой ответ в тех принципах, которые я воспринял от него. Милорд, — сказал я ему шутя, — в ваших словах кроется какое-то лукавство; я не совсем знаю, что бы я ответил вам три дня тому назад, но сегодня я смело говорю вам, что государство может иметь хорошие законы только тогда, когда оно само является своим собственным законодателем.

Милорд обнял меня, сударь, и я, крайне обрадованный такой честью и открытием, в некотором роде, истины, злоупотребив его терпением, заставил его выслушать меня. Я доказывал ему то, что он знал лучше меня, — что смешно ждать при монархии или при аристократическом строе справедливых и разумных законов. Как могут монарх или спесивые патриции пользоваться законодательной властью так, чтобы их страсти, более слепые, чем страсти других людей, не повернули все к их личной выгоде? Они все могут, но разве они стремятся делать только добро? Разве окружающие их льстецы сами не помешают им выполнить их замыслы? Если бы они их выполнили — это было бы дом; едва ли во всей вселенной можно найти два-три подобных примера. С тех пор как монархов безуспешно предупреждают о необходимости предпочитать общественное благо их лошадям, их любовницам, их собакам, их прислужникам, как еще люди не поняли, что они говорили глухим?

Наоборот, если законодательная власть окажется в руках народа, будьте уверены, что он вскоре будет иметь мудрейшие и полезнейшие законы. Гордый своим достоинством республиканец, желающий повиноваться только законам, естественно, обладает честной, справедливой, возвышенной и смелой душой. Тот, кто приспособляется к господству людей, должен быть готов почитать капризы, несправедливость, безумства — своего суждения он лишен. Почитая своего султана, турки привыкли смотреть на его личные приказы, как на законы. Для подданных деспота нет других добродетелей, кроме терпения и нескольких полезных рабских достоинств, совместимых с ленью и страхом. Если народ, ревниво охраняющий свою свободу, и ошибается иногда, его ошибки не долговечны, и они учат его; но для людей порабощенных их первая ошибка неизбежно подготавливает вторую.

Остерегайтесь, о милорд, не превратитесь в корячтисель, вы пока не слишком далеко забегаете, не обращая внимания на то, что истина одинаково далека от всякой крайности.

...Для возникновения республики достаточно любви к свободе, но сохранить ее и сделать цветущей может только любовь к законам; таким образом союз этих чувств должен стать главной целью политики. Мы напрасно будем стараться установить этот ценный союз или сохранить его, если мы не добьемся беспристрастного и благосклонного ко всем требованиям граждан правительства. Если вы ставите себе такую цель, не бойтесь создать несправедливые законы; если же вы пренебрегаете ею, не надеетесь добиться счастья общества. Законодатель, намеревающийся внести закон для исправления допущенного в государстве злоупотребления, должен отнестись к этому внимательно и спросить себя, не способен ли этот закон в какой-то мере ослабить непосредственно или косвенным образом любовь и уважение к законам вообще. Если он произведет одно из этих действий, будьте уверены, что, несмотря на кажущееся и преходящее благо этого закона, он нанесет смертельную рану республике. Но одного этого мало, необходимо, чтобы вы, так сказать, сохранили эти два чувства в равновесии в сердцах ваших граждан. Я уже говорил вам: страсти такого рода, как честолюбие, гнев, гордость, жадность, злоупотребят любовью к свободе, если ею не руководит любовь к законам. А другие страсти — лень, сладострастие, страх — сделают бесполезным и даже опасным уважение к законам, если оно не одушевлено любовью к свободе.

Проследите историю античных республик, вы увидите, что как только они теряют то равновесие, которого я требую, начинаются разногласия. Восстановится оно — тотчас вслед за смутой наступит спокойствие. Невозможно более сохранить равновесие — тогда государство безвозвратно пропало. В эти периоды упадка республики, стонавшие под тяжестью своих несчастий, безуспешно составляли законы и правила, с виду мудрые и полезные. В чем причина этого? В том, что реформу начинали не отсюда, откуда следовало ее начинать. Мы начинаем лечить тот или иной порок, вместо того чтобы сначала изучить причины, вызвавшие его. Частного рода законы не произведут никакого действия, если основные законы государства плохие или если они потеряли свою силу.

Люди почти никогда не знали порядка и метода законодательства, не умели различать законы по их значению, их действительности и их влиянию. Государства почти всегда; безуспешно трудились над тем, чтобы сделать себя счастливыми, или были ими только в течение редких моментов. Свободные народы по обыкновению имеют несчастье угаивать пороки своей конституции и даже любить их. Поэтому многие республики лишь наполовину пользуются теми преимуществами, которые предоставляет им свобода; их терзает множество неудобств, от которых они не могут освободиться, потому что в основе они дороги им. Мы, англичане, жалуемся на тысячи беспорядков, происходящих от некоторых прерогатив короля. Зачем нужна нам свобода выборов в общинах и эта власть двухпалатного парламента, установленных биллями, если мы почитаем право короля портить нас?

В других республиках правление построено таким образом, что части его, разумно связанные, взаимно укрепляются, но сами республики нередко нарушают эту гармонию. То граждане по какому-то капризу сами усиливают власть правителей и замечают свою ошибку лишь тогда, когда вражда и ревность, которые они возбудили, уже не допускают ее исправления; то они пытаются соединить вещи несоединимые. Они хотели бы в свободном государстве наслаждаться пороками, которые привели их соседей к подчинению самовластию деспота. Какой народ обладает такой мудростью, чтобы видеть тесную и неизбежную связь, существующую между свободой и нравственностью? Если вы станете, под предлогом благоприятствования торговле, потворствовать жадности и роскоши, я предсказываю вам, что, какие бы законы вы ни создали для укрепления вашей свободы, они не помешают вам быть рабами. Какая республика могла бы избежать судьбы Спарты и Рима, если бы она восприняла их пороки?

Я не стану повторять вам, сударь, всего того, что милорд Стенхоп говорил мне о связи морали с политикой. Он говорил с тысячью подробностей, правда, очень любопытных, но я могу сказать, не желая льстить вам, что много раз слышал эти же

суждения от вас. Он показал мне скрытую связь пороков; они не столь опасны приносимым ими злом, сколько тем, что препятствуют осуществлению добра, повергая душу в какое-то оцепенение, в какое-то бессилие. Нравственность стоит подобно часовому на страже законов и не допускает нарушения их; безнравственность, наоборот, заставляет предать их забвению и презрению. Вы, конечно, помните, сударь, сколько раз в наших политических мечтаниях мы искали средства для исправления пороков нашего управления? Каких только проектов реформ ни придумывали мы? Но мы всегда кончали наши грустные беседы жалобой на то, что нельзя найти честных людей для их исполнения.

Знаете ли вы, — сказал мне милорд к концу нашей прогулки, — что является основным источником всех несчастий, угнетающих человечество? Собственность имущества. Я знаю, — прибавил он, — что первобытные общества могли по справедливости установить ее; собственность находят даже в естественном состоянии, ибо никто не может отрицать, что человек имел право считать своей собственностью хижину, которую он построил, и плоды, которые он взрастил. Ничто, конечно, не препятствовало тому, чтобы семьи, объединяясь в общества для взаимной помощи, сохранили свою собственность и разделили между собой поля, которые должны были снабжать их продуктами питания. Принимая во внимание волнения, которые происходили в естественном состоянии из-за дикости нравов, и тот факт, что каждый хотел иметь права на все, учитывая также отсутствие опыта, который бы позволил предусмотреть все бесчисленные неудобства, вытекающие из этого раздела, — новым гражданам могло казаться выгодным установить собственность имущества. Но не должны ли были мы, знающие все бесконечные бедствия, вышедшие из этого злосчастного сосуда Пандоры, стремиться, — если бы слабый луч надежды осветил наш разум, — к счастливой общности имущества, столь восхваляемой, столь оплакиваемой поэтами, к общности, которую Ликург установил в Лакедемонии, которую Платон хотел воскресить в своей республике и которая из-за развращенности нравов может быть в мире лишь пустой мечтой?

Каким бы равным ни был первоначальный раздел имущества республики, будьте уверены, — продолжал милорд, — что через два поколения равенство среди граждан исчезнет. У вас только один сын, приученный вами к экономии и труду, и он получит от вас наследство, заботливо сбереженное, в то время как я, которому природа отказала в ваших силах и ваших способностях, менее активный, менее ловкий или менее счастливый, разделю свое наследство между тремя или четырьмя детьми, ленивыми или расточительными.

И вот — люди неизбежно неравны, ибо неравенство имущества неизменно приводит к различию потребностей и какому-то подчинению, правда, неодобряемому законами природы и разумом, но признаваемому многими страстями, порожденными богатством и бедностью. Нельзя себе представить, чтобы богатые, как только их начнут ценить и уважать за их состояние, не стали бы объединяться и требовать особого порядка, отличного от порядка большинства. Искреннейшим образом они верят, что заслуживают место, в действительности принадлежащее лишь добродетели и талантам. Они присваивают себе право быть жестокими, надменными, наглými по отношению к бедным, у которых они вызывают одновременно зависть и восхищение. Сколько пороков терзает общество! Они множатся вместе с бесполезными искусстваами. Не надейтесь больше, чтобы общественное благо стало главным интересом гражданина; его собственность и отличия, которые он приобрел из гордости, ему дороже отечества. Возникают интриги, заговоры, волнения. В то время как роскошь развивается в высших слоях общества дух тирании, она унижает народ, с каждым днем все более тупеющий, и приучает его к рабству.

Сначала раздается ропот против злоупотреблений, но их терпят пока можно, и эта снисходительность способствует их укреплению. Когда же злоупотребления достигают той степени наглости, которая вызывает возмущение, тогда уже нельзя помочь. А если будут созданы аграрные законы и законы против роскоши? Они не будут более соответствовать ни общественным, ни частным правам. Напрасно вызывают народные волнения в реопу блике; они лишь доказывают, что в ней нет больше правительства. И чтобы заставить замолчать некоторые уже бесполезные законы, к которым еще осмеливаются звать, напуганные граждане из жадности и честолюбия прибегают к самому жестокому насилию: страсти создают обширные планы, их венчает успех; а тирания карает граждан, которых она боится. Такова римская история. Когда же люди безвольно и беспечно отдаются ходу событий и порокам, тогда в государстве повсюду устанавливается какая-то холодная, вялая тирания. Общественным благом сначала повсюду пренебрегают, а затем предают его полному забвению. Постыдные рескрипты, опубликованные под названием законов, посеют раздоры среди граждан и возведут в почет унижение, мошенничество и доносы. Тирания не соизволит проливать потоки крови, потому что она презирает своих рабов. С одной стороны — угнетателя, ленивые, глухие и упоенные несметностью своих богатств, готовые вознаградить всякого, кто сумеет вернуть им заглохшее у них в него влечение к удовольствию. С другой стороны — угнетенные, нищета которых лишила их способности мыслить; и эти животные, которые перестали считать себя людьми и которые действительно не являются ими более, будут заняты добыванием жалкой пищи, в которой им отказывают. Такова история древних народов: ассирийцев, вавилонян, мидян, персов и т.п., обесславленных своей роскошью и своей изнеженностью, и такова история большинства наших современных государств

Присядемте на минуту на этот вереск, — сказал мне милорд. Я не смог противиться. — Сохраните мою тайну, я хочу доверить вам мои мечты. Когда я читаю описание какого-нибудь путешественника о некоем пустынном острове, над которым расстилается ясное небо и по которому течет полезная для здоровья вода, у меня всегда является желание отправиться туда и основать там республику, где все богаты, все бедны, все равны, все свободны, все братья и где первым законом было бы запрещение владеть собственностью. Мы понесли бы в общественные магазины плоды наших трудов; они были бы государственным сокровищем и достоянием каждого гражданина. Ежегодно отцы семейств избирали бы экономов, обязанностью которых было бы распределение необходимых вещей соответственно потребности каждого, распределение работы, которая требуется от каждого системой общности, и поддержание в государстве нравственности.

Я знаю, что собственность внушает вкус и усердие к труду, но если при нашей испорченности мы не знаем иного побуждения к труду, кроме собственности, не будем заблуждаться, полагая, будто действительно нет ничего, что могло бы заменить это побуждение. Разве людьми владеет только одна страсть? Не станет ли любовь к славе и уважению, если мне удастся ее возбудить, столь же деятельной, как и жадность, но без всех невыгодных сторон ее? Не изобретателям искусств буду раздавать я награды, поощряющие соревнование, а земледельцам, поля которых будут наиболее плодородными; пастуху, стадо которого будет самым здоровым и самым плодовитым; самому ловкому и выносливому охотнику, лучше других переносящему трудности и непогоду в разные времена года; самому трудолюбивому ткачу; женщине, больше других занятой выполнением своих домашних обязанностей; отцу семейства, больше других старающемуся поучать свою семью исполнению ее обязанностей перед человечеством; детям, наиболее усердно выполняющим свои уроки и более других с готовностью подражающим добродетелям своих родителей. Разве вы не видите, что род человеческий облагородится под влиянием такого законодательства и без труда обретет счастье, которое напрасно обещают нам наша жадность, наша

гордость и наша изнеженность? Только от людей зависело осуществление этой столь возносимой мечты о золотом веке. Какая страсть посмеет проявиться на моем острове? Над нами не будет тяготеть бремя бесполезных законов, угнетающих ныне все народы Устав от тягостного и бессмысленного зрелища, какое представляет Европа, мое воображение предается этим сладким мечтам и душа полна приятных надежд. Я почти наслаждаюсь созданными мною призраками и с сокрушением расстаюсь с ними. Вы слушаете меня с большим вниманием, — оказал мне милорд, — ваше сердце, обманутое иллюзиями, вселяющими в него надежду, с радостью отдыхает, не говорит ли оно вам, что в этом счастье, для которого созданы люди?

Поедем, милорд, — ответил я, — я последую за вами. Когда и куда мы отправимся? Давайте поселимся под новым небом, где, освобожденные от предрассудков и страстей Европы, мы были бы забыты ею навсегда и не были бы свидетелями бесчеловечных безумств наших правительств и несчастий наших сограждан.

Прекрасно, — ответил мне милорд со вздохом, а затем улыбаясь сказал, — поедем, я согласен; но мы вдвоем образуем республики Кто захочет последовать за нами? Кто захочет отправиться искать где-то вдали от своей родины счастья, которым он пренебрег бы, если бы нашел его около себя! Мы дошли до такой степени испорченности, когда высшая мудрость должна казаться крайним безумием я действительно им является; если у нас совсем нет новых людей, которых мы могли бы по своей воле превратить в граждан, как сумели бы мы изменить их представления? Как сумеете вы вырвать из их сердец корни этих бесчисленных и вечно возрождающихся страстей, власть которых воспитание и привычки сделали несокрушимой?

Цицерон где-то хулит Катона за то, что тот говорит о римлянах своего времени так, как если бы он жил в республике Платона. Постараемся не заслужить такого же упрека, будем разумнее Катона. Мы пресмыкаемся в глубине бездны; мы влачим там тяжелые цепи, которые никакая человеческая сила не может разорвать; оставим попытку подняться быстрым взлетом на вершину горы, прорезающей небеса.

Приведено по:

*Г.Мабли. Избранные произведения.*

М.-Л.: издательство АН СССР. 1950.

Перевод и комментарии Ф.Б.Шуваевой.

Вступит.статья В.П.Волгина.

К веб-публикации подготовили: Люсиль, В.Веденеев, Александр

© Век Просвещения 2005